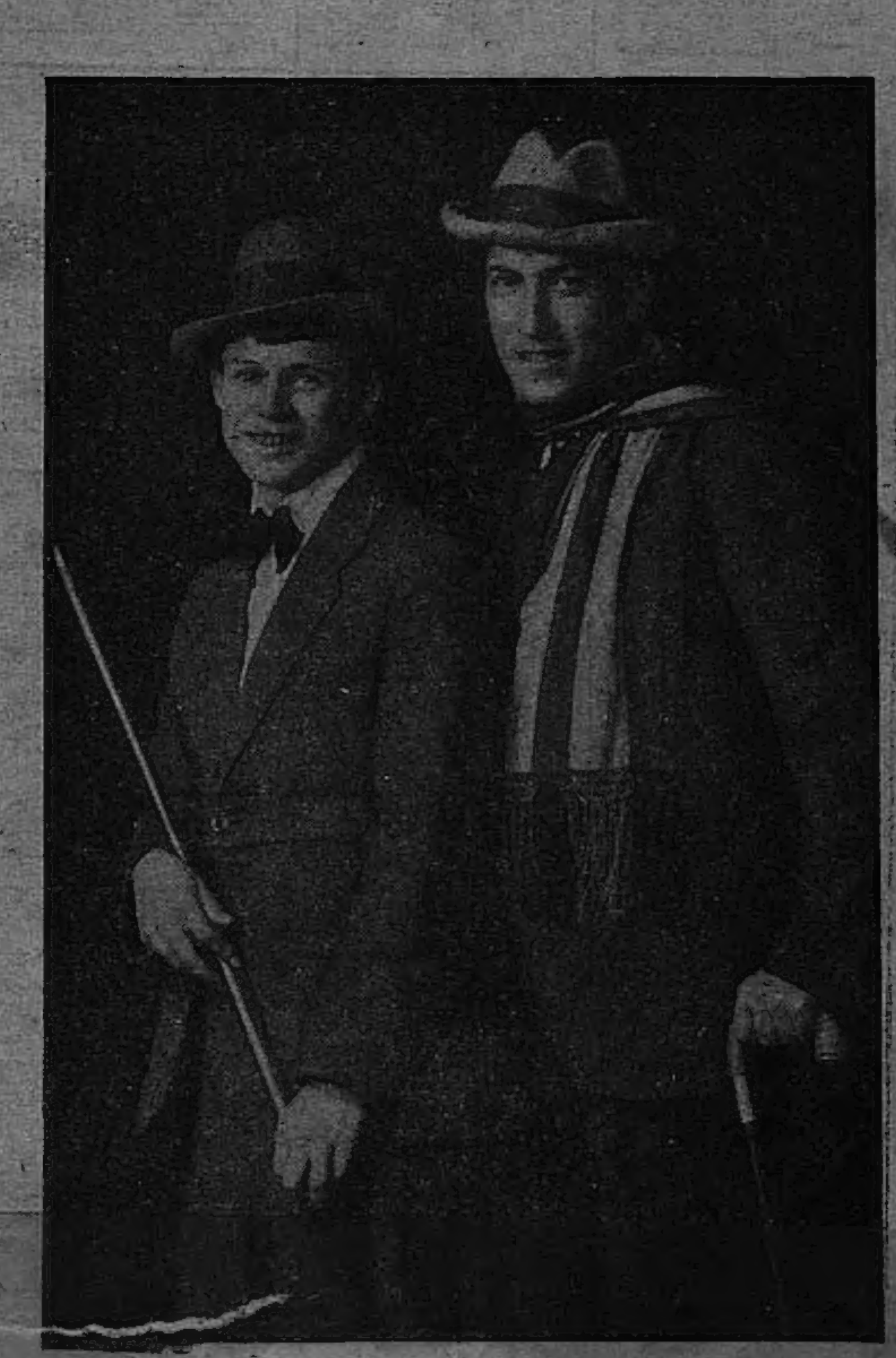
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

ВОСПОМИНАНИЯ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 148
АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО
„ОГОНЕК“
МОСКВА — 1926


О. ГЕНРИ
ПРИНЦ ИЗ СКАЗКИ
РАССКАЗЫ
А. ЗУЕВ
ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ
РАССКАЗЫ
МАРСЕЛЬ МАРТИНЭ
ПРОКЛЯТЫЕ ГОДЫ
Д. ФРИДМАН
МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ МЕНЯЕТ КВАРТИРУ
П. БЛЯХИН
БОЛЬШЕВИК МАМЕДКА
КИНО-РАССКАЗ
АЛ. ЯКОВЛЕВ
ЖЕНИХ ПОЛУНОЧНЫЙ
РАССКАЗЫ
Д. ФРИДМАН
ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЕЛЯ МАРАНЦА
ЕФИМ ЗОЗУЛЯ
ВЕСЕННИЕ РАССКАЗЫ
Л. НИКУЛИН
ПРОТИВНЫЙ СЛУЧАЙ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ
МАРК КОЛОСОВ
КОМСОМОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ
АРК. АВЕРЧЕНКО
ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ
РАССКАЗЫ О МАЛЕНЬКИХ ДЛЯ БОЛЬШИХ
МАРК ТВЭН
ПОЧЕМУ Я ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
РАССКАЗЫ
ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
В. ГЕРЦОГ
ЗАПИСКИ МЕЖДУПАЛУБНОГО ПАССАЖИРА
КОНРАД БЕРКОВИЧИ
ЦЫГАНСКИЕ РАССКАЗЫ

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“
Москва — 1926

«Мосполиграф»,
типо-цинкография
«Мысль Печатника»
Петровка, 17. Тираж 25.000 экз.
Главлит № 66642

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

1

Стоял теплый августовский день. Мой секретарский стол в издательстве Всероссийского Центрального Комитета помещался у окна, выходящего на улицу. По улице ровными, каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано:

«Мы требуем массового террора».

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством, Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светло-синей поддевке. Под поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Этот завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали

лицо умнее и завитка, и синей поддевочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

2

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты «предков», так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах.

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезду стащили со стен засиженные мухами портреты «предков», навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера после такой большевистской операции заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее бренной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голо-

сом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

— А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые «канделяберы» пуда по два вытянут?

— Разумеется, вытянут.

— А не знаешь ли ты, какого они века?

— Восемнадцатого, говорила бабушка.

— И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

— Флорентийца.

— Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

— Отвалят.

— Так вот, пусть уже до воскресенья постоят, а там и потащим.

— Потащим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток бренной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец, было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он, запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он, вместо Петровки, по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке, вместо дома с таким номером, был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».

У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл з а с т а в к а м и, динамические, движущиеся — к о р а б е л ь н ы м и, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома — увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне

образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Формальная школа для Есенина была необходима. Да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает.

Один умный писатель на вопрос: «Что такое культура», рассказал следующий правоучительный анекдот:

— В Англию приехал богатейший американец. Ездил по стране и ничему не удивлялся. Покупательная потенция доллара делала его скептиком. И только один раз, пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона.

— Ничего нет проще, — отвечает садовник, — вспашите, засейте, а когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой и два раза в день поливайте. Если так будете делать, через триста лет у вас будет такой газон.

Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского.

Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться.

Перед тем, как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших «канделяберах», а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом,

то пророком Сергеем; от слов ли крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватер-клозету.

3

Каждый день часов около двух приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями желтый тюречек с солеными огурцами.

Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо и сочился соленый сок, расползаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

— Так, с бухты-барахты, не след итти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком, волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит. Вот смотри Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески, захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? — Ввел. Клюев ввел? — Ввел. Сологуб с Чебытеревской ввели? — Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уж он тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тоненьким голоском. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил и поддевки такой задрипанной, в какой перед ним предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в

Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он моляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю и пол вощеный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки — будто кто простегнул по их краям алую ниточку:

— Ну, а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Соллогубов с Гиппиусихами!..

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезку, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только и люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого, — даром, что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавочку за нитками посылала.

Еще об Есенинском обхождении с человеком.

Было у нас, у имажинистов, в годы военного коммунизма издательство свое, книжная лавочка и «Стойло Пегаса».

Из-за всего этого бегали немало по разным учреждениям, по наркомам, в Московский Совет.

Об издательстве, лавочке и «Стойле» поподробнее расскажу ниже — как никак, а связано с ними и немало наших дней, мыслей, смеха и огорчений.

А сейчас хочется еще несколько черточек добавить, пятнышек несколько. Не пятнающих, но и не льстивых. Только холодная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам.

Обхождение — слово-то какое хороше...

Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу.

В многовековом хождении затрепались слова. На одних своими языками вылизали мы прекраснейшие метафорические фигуры, на других — звуковой образ, на третьих — мысль, тонкую и насмешливую.

Может быть, от тонкого прислушивания к нутру всякого слова и пришел Есенин к тому, что надобно человека обхаживать...

В те годы заведующим Центропечати был чудесный человек, Борис Федорович Малкин. До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку «Чернозем». Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом, притащил к нему тетрадочку своих стихов.

На Центропечати зиждилось все благополучие нашего издательства. Борис Федорович был главным покупателем, оптовым.

Сидим как-то у него в кабинете. Есенин в руках имеет заказ — требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами, что колики под ребро. Одного слова «имажинист» пугались, а не только что наших книг.

Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами (у Бориса Федоровича я не видел других глаз) и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И, наконец, весьма хитро, в совершеннейший придя восторг от административного гения Малкина, восклицает:

— А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, Ленин медалью пожалует!

От такого Есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше.

Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие. Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние изобретенной им только что медали, уже припрятал ее в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных благодаря многочисленным нашим «предприятиям» представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко.

Как-то недельки через четыре после того, выйдя из кабинета Малкина, я сказал сердито Есенину:

— Сделай милость, Сережа, брось ты, пожалуйста, свою медаль. Ведь за какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь.

Есенин сдвинул бровь:

— Оставь! Оставь! Не учи.

К слову: лицо его очень красили темные брови — напоминали они птицу, разрубленную пополам — в ту и другую сторону по крылу. Когда, сердясь, сдвигал брови — сросталась широко разрубленная темная птица...

А когда в Московском Совете надобно было нам получить разрешение на книжную лавку, Есенин с Каменевым говорил на олонецкий, клюевский манер, огругляя О и по-мужицки на ты:

— Будь милОстив, Отец рОдной, Лёв БОрисович, ты уж этО сделай.

5

В памяти — один пожар в Нижнем. Горели дома по с'езду. С'езд крутой. Глядишь — и как это не сковырнутся домишки. Под глиняной пяткой с'езда в вонючем грязном овраге — Балчуг: ларьки, лавченки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копеечная торговля.

Когда вспыхнул с'езд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понес ее к Балчугу, огромная черная толпа, глазеющая на пожар, дрогнула. Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм с красной искоркой, желтые

перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца. Но глаза, рот и бритые мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими. Тут уже не проведешь никаким аглицким материалом, никакой искоркой на костюме, никакими перчатками — пусть даже самыми желтыми в мире.

Стоял он, как монумент из серого чугуна. И на пожар-то глядел по-манументовски — сверху вниз. Потом снял шляпу и заложил руки за спину. Смотрю: совсем, как чугунный Пушкин на Тверском бульваре.

Вдруг, кто-то шопотом произнес его имя — оно обежало толпу. И тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем.

Люди отворачивались от пожара, заглядывали бесцеремоннейшим образом ему в глаза, тыкали пальцем в его сторону и перешептывались.

Несколькими часами позже я встретил мой монумент на Большой Покровке — главной Нижегородской улице. Несколько кварталов прошел я по другой стороне, не спуская с него глаз. А потом месяца три подряд писал штук по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда и в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем.

Прошло много лет.

Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому Мосту.

Вдруг я увидел его. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа

и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца... с нижегородскими глазами и бритыми, мягко-округляющимися нашими русапетскими скулами.

Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!»

Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками:

— Шаляпин.

Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом:

— Вот так слава!

И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет свою жизнь.

Было и такое:

Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле — Есенин, скульптор Сергей Коненков, я.

Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению.

Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснущатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.

Вечером (вернулись мы усталые и измученные — часов пять летали по ужасным подмосковным дорогам) Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо:

— Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина... А?.. Жениться, что ли?..

6

Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неописуемом номере гостиницы «Европа», в вагоне Молабуха, в «Люксе» у Георгия Устинова, словом: где, на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в «кабинете правления» знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов.

На Тверской, ниже немного Камергерского, помещалась эта «колыбель славы».

А кормилицей, выняньчившей и выходившей немалую семью скандальных и знаменитых впоследствии поэтов — был толстороржий (ростом с газетный киоск) сибирский шуллер и буфетчик — Афанасий Степанович Нестеренко.

Когда с эстрады кафе профессор Петр Семенович Коган читал двухчасовые доклады о революционной поэзии, убаюкивая бледнолицых барышень, в белых из марли фартучках, вихрастых широкоглазых красноармейцев и грустных их дам с обезлюдевшей к этому часу Тверской; когда соловели даже веселые забористые надписи на стенах кафе и подвешенный к потолку рыжий дырявый сапог Василия Каменского,— тогда сам Афанасий Степанович Нестеренко

подходил к нам и, положив свою львиную лапу на плечо, спрашивал:

— Как вы думаете, товарищ поэт, кто у нас сегодня докладчик?

Мы испуганно глядели в глаза краснорожему нашему господину и произносили чуть слышно:

— Петр Семенович Коган.

Афанасий Степанович после такого неуместного ответа громыхал:

— Не господин Каган-с, а Афанасий Степанович Нестеренко сегодня докладчик, да-с. Из собственного кармана, извольте почувствовать-с.

В такие дни нам не полагалось бесплатного ужина.

Но вернемся же к приключению.

Оставшись ночевать в союзе, я условился с Есениным, что по утру он завернет за мной, а там вместе на подмосковную дачу к одному приятелю.

Солнце разбудило меня раньше. Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье...

— Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обедов на пять, на шесть — сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

— Вот сволочи!

Захотел встать — исчезли ботинки...

Вздумал натянуть брюки — увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки минуты по три я обнаруживал одну за другой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак, носки, панталоны, галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений.

Если бы не Есенин, так и сидеть мне до 4 часов дня в чем мать родила в пустом запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из «Европы» свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!

А когда мы сидели в вагоне подмосковного поезда, в окно влетел горящий уголек из паровоза и прожег у меня на есенинских брюках дырку, величиной с двугривенный.

Есенин перестал смеяться и, отсадив меня от окна, прикрыл газетой пиджак свой на мне. Потом стал ругать Антанту, из-за которой приходится чорт знает чем топить паровозы; меня за то, что сплю, как чурбан, который можно вынести, а он не услышит; приятеля, уговорившего нас — идиотов — на кой-то чорт тащиться к нему на дачу...

А из дырки — вершка на три повыше колена — выглядывал розовый кусочек тела.

Я сказал:

— Хорошо, Сережа, что ты не принес мне и подштанников, а то бы и их прожег.

7

Стояли около «Метрополя» и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами художник Дид Ладо.

— Куда, Дид?

— В Петербург.

Бросились к нему через площадь бегом во весь дух.

На-лету вскочили, догнав кляченку.

— Как едешь-то?

— В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купу красного бархата.

— С кем?

— С комиссаром. Страшеннейший! Пистолетами и кинжалищами увешан, как рождественская елка хлопушками. Башка, что обритая свекла.

По паспорту Диду было за пятьдесят, по сердцу восемнадцать. Англичане хорошо говорят: костюму столько времени, на сколько он выглядит.

Дид с нами расписывал Страстной монастырь, переименовывал улицы, вешал на шею чугунному Пушкину плакат: «Я с имажинистами».

В СОПО читал доклады по мордографии, карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми: Есенин — Вятка, Шершеневич — Орловский, я — Гунтер.

Глаз у Дида был верный.

Есенина в домашнем быту так и звали мы — «Вяткой».

— Дид, возьми нас с собой.

— Без шапок-то?..

Летом мы ходили без шапок.

— А на кой они чорт!

Если самому «восемнадцать», то чего возражать.

— Деньжонки-то есть?..

— Не в Америку едем.

— Валяй, садись.

Поехали к Николаевскому вокзалу.

На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар.

Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета.

Я шепнул Диду на ухо:

— Эх, не возьмет нас, «свекла»!

А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.

Один кино-режиссер ставил картину из еврейской жизни. В последней части в сцепе погрома должен был на «крупном плане» плакать горькими слезами малыш лет двух. Режиссер нашел очаровательного мальчугана с золотыми кудряшками. Началась с'емка. Вспыхнули юпитера. Почти всегда дети, пугаясь сильного света, шипения, черного глаза аппарата и чужих «дядей» начинают плакать. А этому хоть

бы что — мордашка веселая и смеется во все горлышко. Пробовали и то, и се — малыш ни в какую. У оператора опустились руки. Тогда мать неунывающего малыша научила режиссера:

— Вы, товарищ, скажите ему: «Мойшенька, сними башмачки!» Очень он этого не любит и всегда плачет.

Режиссер сказал и — павильон огласился пронзительным писком. Ручьем полились горькие слезы. Оператор завертел ручку аппарата.

Вот и Есенин, подобно той матери, замечательно знал для каждого секрет «мойшенькиных башмачков»: чем расположить к себе, повернуть сердце вынуть душу.

Отсюда его огромное обаяние.

Обычно — любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.

Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург и спали на красном бархате, и пили кавказское вино хозяина вагона.

В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте, над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда.

На второй день в Петербурге пошел дождь.

Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам «без ордера» шляпу.

В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, ирисники гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

К осени стали жить вместе в Бахрушинском доме. Пустил нас к себе на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам. Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах:

Тем не менее, расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой энергии, с какой раздавал их, со своими автографами, Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже 2 фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.

8

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни и, если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой.

Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против Почтамта лежали две раздувшихся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый «присник», в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке, швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем.

Вторую тушу глодала собака. Протрусивший мимо на хлябеньких санках извозчик вытянул ее кнутом. Из дыры, над которой некогда был хвост, она выта-

щила длинную и узкую, как отточенный карандаш, морду. Глаза у пса были недовольные, а белая морда окровавлена до ушей. Словно в красной полумаске. Пес стал вкусно облизываться.

Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели,— у девушки были большие голубые глаза.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него в доме Нерензея, в комнате, тоже мерзли чернила и тоже не таял на колошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились в роде сосулек — попробуй согнуть и сломятся.

Электрическими грелками строго-на-строго было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов; о солнце, стынущем, как лужа, которую напрудил мерин; о скачущей по полям стуже и о собаках, сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В Бахрушинском доме работает центральное отопление; в доме Нерензея газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

9

В самую эту суету со спуском «утлого суденышка» нагрянули к нам на Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла она с собой дочку — надо же было показать отцу. Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш закадычный, Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок — Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» — с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца.

И рядышком примостилось смешное. Вторым по счету словом молабуховским (не успели еще вытащить из ремней подушки с одеялом, а из мешка мясных и мучных благ) было:

— А знаете ли, Сережа и Толя, почем в Пензе соль?

— Почем?

— Семь тысяч.

— Неужто!

— Тебе говорю.

Часа через два пошли обедать. В Газетном у Надежды Робертовны Адельгейм имелся магазинчик старинных вещей. В первой комнате стояла трехногая корельская береза, шифоньерочка красного дерева и пыльная витрина. Под тусклым стеклом на вытертом бархате: табакерочка, две-три камеи и фарфоровые чашечки семидесятых годов (которая треснута, которая с отбитой ручкой, которая без блюдца). А во второй, задней, комнате очаровательная Надежда Робертовна кормила нас обедами.

За кофе Молабух спросил:

— А знаете ли, ребята, почем в Пензе соль?

— Почем?

— Девять тысяч.

— Ого!

— Вот тебе и «ого».

Вечером Тапошкина няня соорудила нам самовар. Ставила самовар забором. Теперь — дело прошлое — могу признаться: во дворе нашего дома здоровеннейшие тополя без всякого резона были обнесены изгородью. Мы с Есениным, лежа как-то в кровати и свернувшись от холода в клубок, порешили:

— Нечего изгороди стоять без толку вокруг тополей! Не такое ныне время.

И начали самовар ставить забором. Если бы не помогли соседи, хватило бы нам забора на всю революцию.

В вечер, о котором повествую, мы пиршествовали пензенской телятиной, московскими «эклерами», орловским сахаром и белым хлебом.

Посолив телятину, Молабух раздумчиво задал нам вопрос:

— А вот, почем, смекаете, соль в Пензе?

— Ну, а почем?

— Одиннадцать тысяч.

Есенин посмотрел на него смеющимися глазами и, как ни в чем не бывало, обронил:

— Нда... за один только сегодняшний день на четыре тысячи подорожала...

И мы залились весельем.

У Молабуха тревожно полезли вверх скулы:

— Как так?

— Очень просто: утром семь, за кофе у Адельгейм девять, а сейчас к одиннадцати подскочила...

И залились заново.

С тех пор стали прозывать Молабуха «Почем соль».

Парень он был чудесный, только рассеянности невозможной и памяти скоротечной. Рассказывая об автомобиле, бывшем в его распоряжении на германском фронте, всякий раз называл новую марку и другое имя шоффера. За обедом, вместо водки, по ошибке наливал в рюмку из стоящего рядом графина воду. Залихватски опрокинув рюмку, крякал и с причмоком закусывал селедкой.

Скажешь ему:

— Мишук, чего крякаешь?

— Что?

— Чего, спрашиваю, крякаешь?

— Хороша-а!

— То-то хороша-а... отварная, небось... водичка-то.

Тогда он невообразимо серчал; подолгу отплевывался и с горя, вконец, напивался до белых риз.

А раз в вагоне, ехали мы из Севастополя в Симферополь, выпил, вместо вина, залпом полный стакан красных чернил. На последнем глотке расчухал. Напугался до того, что переодевшись в чистые исподники и рубаху лег на койку в благостном сосредоточии отдавать богу душу. Души не отдал, а животом промучился.

10

— Пропадает малый... Смотреть не могу — пла-а-а-акать хочется. Ведь люблю ж я его, стервеца... понимаешь ты, всеми печенками своими люблю...

— Да кто пропадает, Сережа? о чем говоришь?..

— О Мишуке тебе говорю. «Почем соль» наша пропадает... пла-а-а-акать хочется...

И Есенин стал пространно рассуждать о гибели нашего друга. А и вправду без толку текла его жизнь. Волновался не своим волнением, радовался не своей радостью.

— Дрыхнет сукин кот до двенадцати... прохлаждается, пока мы тут стих точим... гонит за нами без чутья, как барбос за лисой: по типографиям, в лавку книжную, за чужой славой... ведь на же тебе — на Страстном монастыре тоже намалевал: Михаил Молабух...

Есенин сокрушенно вздохнул:

— И ни в какую — разэтакий — служить не хочет. Звезды своей не понимает. Спрашиваю я его вчера: «Ведь ездил же ты, «Почем соль», в отдельном своем вагоне на мягкой рессоре — значит, может тебе Советская Россия итти на пользу. Ну,— говорю,— поездил бы еще месяц-другой — глядишь и в наркомы выехал». (Время такое)... А он мне: ни бе, ни ме... пла-а-а-акать хочется.

И чтобы спасти «Почем соль», Есенин предложил выделить его из нашего кармана.

Суровая была мера.

Больше всего в жизни любил «Почем соль» хорошее общество и хорошо покушать. То и другое — во всей Москве — могли обрести лишь за круглым столом очаровательнейшей Надежды Робертовны Адельгейм.

Как-то с карандашиком в руках прикинув скромную цену обеда, мы с Есениным порядком распечалились — вышло, что за один присест каждый из нас отправлял в свой желудок по 250 экземпляров

брошюрки стихов в 48 страничек. Даже для взрослого слона это было бы не чересчур мало.

Часть, выделенная на обед «Почем соли», равнялась 100 экземплярам. Приятное общество Надежды Робертовны было для него безвозвратно потеряно...

В пять, отправляясь обедать, добегали мы вместе до угла Газетного. Тут пути расходились. Каждый раз прощание было трагическим. У нашего друга, словно костяные мячики, прыгали скулы. Глядя с отчаянием на есенинскую галошу, он чуть слышно молил:

— Добавь, Сережа! Уж вот как хочется вместе... Последний разок — свиную котлетку у Надежды Робертовны...

— Нет!

— Нет?..

— Нет!

Вслед за желтыми мячиками скул у «Почем соли» начинала прыгать верхняя губа (красный мячик) и зрачки (черные мячики).

Ах, «Почем соль!».

Во время отступления из-под Риги со своим «Банным Отрядом» Земского союза он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шофферов, марки автомобилей, а в непогоду и в ростепель ноют кости.

Милый «Почем соль», давай же вместе ненавидеть войну и обожать персонаж из анекдота. Ты знаешь о чем я говорю. Мы же вместе с тобой задыхались от хохота.

Я не умею рассказывать (у нашего приятеля получалось на много смешнее), но зато я очень живо себе представляю:

Крутил в аптеке пилюли и продавал клистиры. Война. Привезли под Двинск и посадили в окоп. Сидит не солоно хлебавши. Бац!—разрыв. Бац! — другой. Бац! — третий. В воронке: мясо, камень, кость, тряпки, кровь и свинец. Вскакивает и размахивая руками орет немцам:

«Самашедшие, что вы делаете! здесь же люди сидят.»

Но тебе, милый «Почем соль», не до анекдотов. Тебе хочется плакать, а не смеяться.

Мы, «хамы», идем к Надежде Робертовне есть отбивные на косточке, а тебя («тоже друзья») посылаем из жадности («об'ешь нас») глотать всякую пакость («у самих, небось, животы болели от той дряни») в подвальчик.

«Почем соль» говорит почти беззвучно — одними губами, глазами и сердцем:

— Ну, Сережа, последний разок...

У Есенина расплеснулись руки:

— Н-и-н-е-т.

Тогда зеленая в бекеше спина «Почем соли» ныряла в ворота и быстро, быстро бежала к подвальчику, в котором рыжий с нимбом повар разводил фантасмагорию.

А мы сворачивали за угол.

— Пусть его... пусть... (и Есенин чесал затылок)... пропадает ведь парень... пла-а-а-акать хочется...

За круглым столом очаровательная Надежда Робертовна, как обычно, вела весьма тонкий (для «Хозяйки Гостиницы») разговор об искусстве, угощала необыкновенными слоеными пирожками и такими свиными отбивными, от которых «Почем соль» чувствовал бы себя счастливейшим из смертных.

Я вернул свою тарелку Надежде Робертовне.

Она удивилась:

— Анатолий Борисович, вы больны?

Половина котлеты осталась нетронутой (прошу помнить, что дело происходило в 1919 году).

— Нет... ничего...

Жорж Якулов даже оборвал тираду о своих «Скачках», вскинул на меня пушистые ресницы и, сочувственно переведя глаз (похожий на косточку от чернослива, только что вынутую изо рта) с моей тарелки на мой нос, сказал:

— Тебе... гхе, гхе... Анатолий, надо — либо... гхе, гхе... в постель лечь... либо водки выпить...

Есенин потрепал его по плечу:

— С'едим, Жорж, по второй?

— Можно, Сережа... гхе, гхе... можно... вот я и говорю... когда они — сопляки — еще цветочки в вазочках рисовали, Серов, простояв час перед моими «Скачками», гхе, гхе, заявил...

— Я знаю, Жорж.

— Ну, так вот, милый мой — я уж тебе раз пятьдесят... гхе, гхе... говорил и еще... гхе, гхе... сто скажу... милый мой... извольте знать, милостивые государи... гхе, гхе... что все эти французы... гхе, гхе. Пикассо ваш. Матисс... и режиссеры там раз-

ные... гхе... гхе... Таиров — с площадочками своими... гхе, гхе... «Саломеи» всякие с «Фамирами» гхе, гхе... гениальнейший Мейерхольд, милый мой, все это мои «Скачки», милый мой... «Скачки», да-с! весь «Бубновый Валет», милый мой...

У меня защемило сердце:

Ах, «Почем соль». Вот в эту трагическую минуту, когда голова твоя, как факел, пылает гневом на нас; когда весь мир для тебя окрашен в черный цвет вероломства, себялюбия и скаредности; когда на-век померкло в твоих глазах сияние нежного и прекрасного слова «дружба», обратившегося в сальный огарок, чадящий изменами и хладнодушием — в эту минуту тот, которого ты называл своим другом, уплетает вторую свиную котлету и ведет столь необыкновенные, столь неожиданные и столь зернистые (как любила говорить одна моя приятельница) разговоры о прекрасном...

Прошло дней десять. Мы с Есениным стояли на платформе Казанского вокзала, серой мешками, мешочниками и грустью. «Почем соль» уезжал в Туркестан, в отдельном вагоне (на мягкой рессоре), в сопровождении пома и секретаря в шишаке с красной звездой величиной с ладонь Ивана Поддубного.

Обняв Молабуха и крепко целуя в губы, я сказал:

— Дурында, благодари Сергуна за то, что на рельсу тебя поставил...

Они целовались долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом и кряком, каким только крякают мясники, опуская топор в кровавую бычью тушу.

11

Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали — какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляя с неожиданным исходом, и пили чай из самовара, вскипевшем на Николае угоднике: не было у нас угля, не было лучины — пришлось нащепать старую иконку, что смирехонько висела в уголке комнаты. Один из всех «Почем соль» отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает, и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке... Есенин в шутливом серьезе продолжил:

Не меня ль по ветряному свею,
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску...

А зима свирепела с каждой неделей.

Спали мы с Есениным вдвоем на одной кровати, наваливая на себя гору одеял и шуб. Тянули жребий, кому первому корчиться на ледяной простыне, согревая ее своим дыханием и теплотой тела.

После неудачи с электрической грелкой, мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича и завидным простором нашего ледяного кабинета, ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрасом — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки, вдохновляло на лирику.

Через несколько дней после переселения в ванную, Есенин прочел мне:

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре,
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие: установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.

Мы были неумолимы и твердокаменны.

После нового года у меня завелась подруга. Есенин смотрел на это дело бранчливо; супил брови, когда

исчезал я под-вечер. Приходил Кусиков и подливал масла в огонь, намекая на измену в привязанности и дружбе, уверяя, что начинается так всегда — со склонности легкой, а кончается... и напевал приятным своим маленьким и, будто, сердечным голосом:

Обидно, досадно
До слез, до мученья...

Есени хорошо знал Кусикова, знал, что он в роде того чеховского мужика, который, встретив крестьянина, везущего бревно, говорил тому: «А ведь бревно-то из сухостоя, трухлявое»; рыбаку, сидящему с удочкой: «В такую погоду не будет клевать»; мужиков в засуху уверял, что «дождей не будет до самых морозов», а когда шли дожди, что «теперь все погниет в поле»...

И все-таки Есенина нервило и дергало кусиковское «Обидно, досадно».

Как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра: Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Понюхал — ударило в нос сивухой.

Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые, красные веки.

— Что это, Сережа?.. Один водку пил?..

— Да. Пил. И каждый день буду... ежели по ночам шляться станешь... с кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома...

Это было его правило: на легкую любовь он был падок, но хоть в четыре или пять утра, а являлся спать домой.

Мы смеялись:

— Бежит Вятка в свое стойло.

Основное в Есенине: страх одиночества.

А последние дни в «Англетере». Он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле, до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь Устиновской комнаты, умоляя впустить его.

12

В весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда втайне мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку-другую поработало брюхо, как в осень мельница.

Старая моя нянька так говорила о Москве:

— Уж и жизнь! уж и жизнь! В рот не бери и на дворы не ходи.

Весь последний месяц Есенин счастливо играл в карты. К поездке поднасобирались деньги.

Сначала садились за стол оба — я проигрывал, он выигрывал.

На заре вытрясаем бумажники: один с деньжищами, другой пустой.

Подсчитаем — все так-на-так.

Есенин сказал:

— Анатолий, сиди дома. Не игра получается, а одно баловство. Только ночи попусту теряем.

Стал ходить один.

Играл свирепо.

Сорвет ли чей банк, удачно ли промечет, никогда своих денег на столе не держит. По всем растычет

карманам: и в брючные, и в жилеточные, и в пиджачные.

Если карта переменится — кармана три вывернет, скажет:

— Я пустой.

Последние его ставки идут на мелок.

Придет домой, растолкает меня и станет из остальных, уцелевших карманов на одеяло выпотрашивать хрусткие бумажки...

— Вот, смекай, как играть надо!

Накануне от'езда у нас в Георгиевском Шварц читал свое «Евангелие» от Иуды.

Шварц — любопытнейший человек. Больших знаний, тонкой культуры, своеобразной мысли. Блестящий приват-доцент Московского Университета с вдохновенным цинизмом проповедывал апологию мещанства. В герани, канарейке и граммофоне видел счастливую будущность человечества.

Когда вкусовые потребности одних возрастут до понимания необходимости розовенького цветочка на своем подоконнике, а изощренность других опростится до щелканья желтой птички — наступит золотой век.

На эстраде всегда Шварц был увлекателен, едок и остроcловен.

Как несправедливо, что маленькая черная фигурка, с абсолютно круглой бледной головой и постоянным в глазу моноклем на широком шнуре, ушла, не оставив после себя следа.

Походил он на палку черного дерева с шаром из слоновой кости, вместо ручки.

Шварц двенадцать лет писал «Евангелие от Иуды».

Впервые его прочесть решил у нас — тогда самых молодых, самых «левых», самых бесцеремонных к литературным богам и божкам.

Об'яснял:

— Мне нос важен. Чтобы разнюхали: с тухлятинкой или без тухлятинки. А на сей предмет у этих носы самые подходящие.

На чтение позвали мы Кожебаткина и еще двух-трех наших друзей.

«Евангелие» Шварцу не удалось.

Видимо, он ожидал, что три его печатных листика, на которых положено было двенадцать лет работы поразят, по крайней мере, громом «Войны и Мира».

Шварц кончил читать и в необычайном волнении выплюнул из глаза монокль.

Есенин дружески положил ему руку на колено:

— А знаете, Шварц, ерунда-а-а!.. Такой вы смелый человек, а перед Иисусом, словно институтка с книксочками и приседаньицами. Помните, как у апостола сказано: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Вот бы и валяли. Образ-то какой можно было закатить. А то развел патоку... да еще «от Иуды».

И безнадежно махнув рукой, Есенин нежно заулыбался.

Этой же ночью Шварц застрелился.

Узнали мы о его смерти утром.

В Харьков отходил поезд в четыре. Хотелось бежать из Москвы, заткнув кулаками уши и придушив мозг.

На вокзале нас ждали. В теплушке весело потрескивала железная печка. В соседнем вагоне ехали красноармейцы.

Еще с Москвы стали они горланить песни и балагурить. Один голубоглазый, с добрыми широкими скулами, ноздрями, расставленными как рогатка, и мягким пухлым ртом, чудесно играл на гармошке.

На какой-то станции я замешкался с кипятком. Поезд тронулся. На-ходу вскочил в вагон к красноармейцам.

Не доезжая Тулы, поезд крепко пошел.

Вдали по насыпи бежала большая белая собака, весело виляя хвостом.

Голубоглазый отложил гармонь и, вскинув винтовку, неожиданно выстрелил.

Собака, только что весело вилявшая хвостом, ткнулась носом в землю, мелькнула в воздухе белыми лапами и свалилась с насыпи в ров.

Довольный выстрелом, красноармеец повернул ко мне свое мягкое широкоскулое лицо с пухлым ртом, расползшимся в добродушную улыбку:

— Во как ее...

И еще одна подобная же улыбка, как заноза, застряла у меня в памяти.

Во дворе у нас жил водопроводчик. Жена его умерла от тифа. Остался на руках неудачливый (в роде как бы юродивенький) мальченка лет пяти.

Водопроводчик все ходил по разным учреждениям, по детским домам пристраивать мальчика.

Я при встречах интересовался:

— Ну как — пристроили Володюху?

— Обещали, Анатолий Борисович, в ближайшем будущем.

В следующий раз сообщал:

— Просили наведаться через недельку.

Или:

— Сказали, чтоб маненько повременил.

И все в том же духе.

Случилось, что встретил я водопроводчика с дру-[illegible] ответом:

— Пристроил, Анатолий Борисович, пристроил [illegible]о Володюху.

[illegible] с тою же улыбкой — в ласковости своей хорошо [illegible]накомой — рассказал, каким образом пристроил: [illegible] на Ярославском вокзале билет, сел с Володю-х[illegible] поезд, а в Сергиеве, когда мальченка заснул, тихонько вышел из вагона и сел в поезд, идущий в Москву.

А Володюха поехал дальше.

13

Идем по Харькову—Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.

В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощеньи и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими вот стихами:

Утомилась долго бегая
Моя вороха пеленок
Слышит кто-то как цыпленок
Тонко жалобно пищит
　　пить пить
Прислонивши локоток
Видит в небе без порток
Скачет пляшет мил дружок.

У Повицкого же рассчитывали найти и в Харькове кровать и угол.

Спрашиваем у встречных:

— Как пройти?

Чистильщик сапог паяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец.

— Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

— Поди.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми об'ятиями к Есенину:

— Сережа!

— А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.

Миновали уличку, скосили два-три переулка.

— Ну, ты, Лев Осипович, ступай вперед и вопроси. Обрадуются — кличь нас, а если не очень — повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц.

Повицкий был доволен:

— Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и, вместо него, двуспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же ведь на свете теплые люди.

От Москвы до Харькова ехали суток восемь — по ночам в очередь топили печь, когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтоб было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не попротивились. Словно в подкованный, тяжелый, солдатский сапог усталость обула веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не повернувшись)—в первом часу дня.

Все шесть девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком.

Я стал мохрявить его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.

— Что ты?..

И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная хрупкая горечь.

Прямо в кровати, смаху, почти набело (что случалась редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно-внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое степное «Ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина.
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши;
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Из Харькова вернулись в Москву не надолго.

В середине лета «Почем соль» получил командировку на Кавказ.

— И мы с тобой.

— Собирай чемоданы.

Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у «Почем соли» мой однокашник по Нижегородскому Дворянскому Институту — Василий Гастев. Малый такой, что на-ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме: вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

— Слушаюсь; с первым отходящим.

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что, вместо полагающихся по тому времени 15—20 дней, мы выскакиваем из вагона на Ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной га-

зеты, за несколько часов до начала — лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «ракомболические» наши биографии — и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором раз'езжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С «Почем солью» после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать.

Мы пробовали успокаивать, давали клятвенные обещания, что впредь никаких лекций читать не будем, но безуспешно. Он был сосредоточенно молчалив и смотрел в пространство взглядом, блуждающим и просветленным, словно врата царствия небесного уже разверзлись перед ним.

А на ночь принял касторки.

Поезд шел по Кубанской степи.

К пустому пузырьку от касторки Есенин привязал веревку и, раскачивая ею, как паникадилом, совершал отпевание над холодеющим в суеверном страхе «Почем солью». Действия возвышенных слов службы и тягучая грусть напева были бы для него губительны, если бы, к счастью, вслед за этим очень быстро не наступил черед действию касторки.

Волей-не-волей «Почем соли» пришлось встать на ноги.

Тогда Есенин придумывал новую пытку. Зная любовь «Почем соли» «покушать» и невозможность сего в данный момент, он приходил в купе к нему с полной тарелкой нарезанных кружочками помидор, лука, огурцов и крутых яиц (блюдо горячо обожаемое нашим другом) и, усевшись против,— начинал, причмокивая, причавкивая и прищелкивая языком отправлять в рот ложку за ложкой.

«Почем Соль» обращался к Есенину молящим голосом:

— Сереженька, уйди, пожалуйста.

Причмокивания и прищелкивания становились яростней и язвительней.

— Сережа, ты знаешь, как я люблю помидоры... У меня даже начинает болеть сердце...

Но Есенин был неумолим.

Тогда «Почем соль» ложился, закрывал глаза и наваливал подушку на уши.

Есенин наклонялся над подушкой, приподнимал уголок и продолжал чавкать еще громогласней и нестерпимей.

«Почем соль» срывался с места. Есенин преследовал его с тарелкой. «Почем соль» хватал первый попавшийся предмет под руку и запускал им в своего истязателя. Тот увертывался.

Тогда жертва кричала грозно и повелительно:

— Гастев, наган!

— А я уже все с'ел.

И Есенин показывал пустую тарелку.

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону — пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи, в перегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудластой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида.

Есенин ходил сам не свой.

После Кисловодска он написал в Харьков письмо девушке, к которой относился нежно.

Оно не безынтересно.

Привожу:

«Милая, милая Женя. Ради бога, не подумайте, что мне что-нибудь от Вас нужно, я сам не знаю, почему это я стал Вам учащенно напоминать о себе. Конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и эта. Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Дарьяла и вс. прочих. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом

был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, еслиб случайно мне пришлось об'ездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то во всяком случае что-нибудь разрушающее чувство земного диапозона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, в роде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть за уходящее, милое, родное, звериное, и незыблимая сила мертвого, механического.

«Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же видим: за паровозом, что есть силы скачет маленький жеребенок, так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной...»

А в прогоне от «Минеральных до Баку» Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом,

запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.

В Петровском Порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.

В «Сорокоусте»:

Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка.

15

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве: будто согласно какому-то распоряжению прикрыты — и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.

У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном.

Еще месяц я мотаюсь по Кавказу. Наш вагон прыгает, словно блоха, между Минеральными — Петровским Портом — Баку.

Наконец — во-свояси. Мы в хвосте «скорого на Москву». Белыми простынями уже застлана земля, а горы, как подушки в сверкающих полотняных наволоках.

В Москве случайно, на улице, встречаю первым Шершеневича. Я еду с вокзала. Из-под чемоданов, корзин, мешков, торчит моя голова в летней светлой шляпе.

Останавливаю извозчика. Шершеневич вскакивает на подножку:

— Знаешь, арестован Сережа. Попал в какую-то облаву. Третий день. А магазин ваш и «Стойло» открыты, книги вышли...

Так с чемоданом, корзинами и мешками, вместо дома, несусь в «Центропечать» к Борису Федоровичу Малкину — всегдашнему нашему защитнику, палочке-выручалочке.

— Что же это такое?.. Как же это так?.. Борис Федорович, а?.. Сережа арестован!

Борис Федорович снимает телефонную трубку.

А вечером Есенин дома. На физию серой тенью легла смешная чумазость. Щеки, губы, подбородок — в рыжей, милой, жесткой щетине. В голубых глазах сквозь радость встречи — глубокая ссадина, точащая обидой.

За чаем поет бандитскую:

В жизни живем мы только раз,
Когда отмычки есть у нас.
Думать не годится,
В жизни что случится,
Эх, в жизни живем мы только раз.

Сидели в парке Эрмитажа. Подошел Жорж Якулов.

— Хотите с Изадорой Дункан познакомлю?

— Где она?.. где? — Есенин даже привскочил со скамьи.

И, как ошалелый, ухватив Якулова за рукав, стал таскать по Эрмитажу из Зеркального зала в Зимний, из Зимнего в Летний. Ловили среди публики, выходящей из оперетты, с открытой сцены.

Есенин не хотел верить, что Дункан ушла. Был невероятно раздосадован и огорчен без меры.

Теперь чудится что-то роковое в той необ'яснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо, и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.

Месяца три спустя Якулов устроил вечеринку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный, мягкими складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Angel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

На другой день мы были у Дункан.

Она танцовала нам танго «Апаш».

Апашем была Изадора Дункан, а женщиной — шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами сдавливала горло. Беспощадно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин был ее повелителем, ее господином. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней.

И все-таки он был только — партнером, похожим на тот кусок розовой материи — безвольный и трагический.

Она танцовала. Она вела танец.

Как-то я попросил у Изадоры Дункан стакан воды. Она растерялась:

— Воды? Что такое вода? Вот уже лет тридцать, как я не пила этого странного напитка.

Шампань, коньяк и водка заменяли ей утренний чай и вечерний кофе.

До Изадоры Дункан Есенин пил не больше и не чаще, чем любой из нашей среды. Выпивка в хорошей компании — приятный случай и только.

* * *

Весной 1922 года Есенин с Дункан на одном из первых «юнкерсов», начавших пассажирские воздушные рейсы Москва — Кенигсберг, улетели за границу.

В последний час мы обменялись прощальными стихотворениями.

Я приведу есенинское полностью, так как в первом томе лирики академического посмертного издания его нет.

Прощание с Мариенгофом.

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеориновую свечу.

Возлюбленный мой, дай мне руки —
Я по иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки,
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе,
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно, — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня задушит.
Не потому ли — в лад речам
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай! в пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных,
Ты был всех лучше для меня.

Мое «Прощание с Есениным» заканчивалось следующими строками:

А вдруг —
При возвращении
В руке рука захолодает,
И оборвется встречный поцелуй.

Оба стихотворения оказались в какой-то мере пророческими.

По возвращении «наша жизнь» оборвалась — «мы» раздвоились на Я и ОН.

На обложке помещен неопубликованный снимок: Есенин (слева) и Мариенгоф (справа).

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ВЫШЛИ В СВЕТ:

№ 105. **Б. Волин** — Царские послы о 1905 г.
№ 106. **Мария Кюри** — Пьер Кюри.
№ 107. **Леонид Гроссман** — Крепостные поэты.
№ 108. **Л. Н. Толстой** — Война и мир 1 часть.
№ 109. » » » II часть.
№ 110. **Вера Инбер** — Мальчик с веснушками.
№ 111. **Л. Н. Толстой** — Война и мир III часть.
№ 112. **Пьер Амп** — Скорый 2638.
№ 113. **К. Федин** — Рассказы.
№ 114. **Б. Волин** — Парижская Коммуна по донесениям царского посла.
№ 115. **Г. Честертон** — Вегетарианская шляпа.
№ 116. **А. Аверченко** — День делового человека.
№ 117. **Ал. Жаров** — Избранные стихи.
№ 118. **Бернард Шоу** — Чудесная месть.
№ 119. **Джиованни Папини и др.** — Итальянские новеллы.
№ 120. **О. Генри** — Принц из сказки.
№ 121. **А. Зуев** — Через сердце.
№ 122. **Марсель Мартинэ** — Проклятые годы.
№ 123. **Д. Фридман** — Мендель Маранц меняет квартиру.
№ 124. **П. Бляхин** — Большевик Мамедка.
№ 125. **Ал. Яковлев** — Жених полуночный.
№ 126. **Д. Фридман** — Возвращение Менделя Маранца.
№ 127. **Ефим Зозуля** — Весенние рассказы.
№ 128. **Л. Никулин**—Противный случай.
№ 129. **В. Александровский**—Избранные стихи
№ 130. **М. Колосов**—Комсомольские рассказы.
№ 131. **Арк. Аверченко**—Человек за ширмой.
№ 132. **Марк Твэн**—Почему я подал в отставку.
№ 133. **П. Романов**—Юмористические рассказы.
№ 134. **В. Герцог**—Записки междупалубного пассажира.
№ 135. **К. Берковичи**—Цыганские рассказы.
№ 136. **А. Брагин**—А все-таки завертим!
№ 137. **Б. Пильняк**—Метель.
№ 138. **А. Свирский**—Симочка.
№ 139. **Толлер**—Штурм голода.
№ 140. **Г. Уэллс**—В морской глубине.
№ 141. **Г. Х. Андерсен**—Тень.
№ 142. **Д. Семеновский**—По следам мятежа.
№ 143. **Октав Мирбо** — Сын земли.
№ 144. **Д. Лондон** — Встреча.


ФЕДОРЧЕНКО
НАРОД НА ВОЙНЕ
ЭРИХ МЮЗАМ
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ
и
РАССКАЗЫ
Б. САВИНКОВ
В ТЮРЬМЕ
С. РЕШЕТОВ
В СТАРОМ ПОДПОЛЬЕ
БОРИС САВИНКОВ
ПОСЛЕДНИЕ ПОМЕЩИКИ
ПОСМЕРТНЫЕ РАССКАЗЫ
АЛЕКСАНДР АРНУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
КРЕПТЮКОВ
МИКИША
РАССКАЗЫ
МИХ. ПРИШВИН
РАССКАЗЫ
В. ВЕРЕСАЕВ
РАССКАЗЫ
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
ПРАЗДНИК В КОКВИЛЕ
С БУДАНЦЕВ
ЭСКАДРИЛЬЯ ВСЕМИРНОЙ
КОММУНЫ
ЗАЛКА МАТЭ
РАССКАЗ
О ВЕНГЕРСКОМ
СОЛДАТЕ
МИХ. ЗОЩЕНКО
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ
В В ДЖЕКОБС
ВЫСЕЛЕНИЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
БОРИС ГУСМАН
ПОЭТЫ
ПЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИК
И. БАБЕЛЬ
ЛЮБКА КОЗАК
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"
№ 64
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК"

ЦЕНА 15 КОП.

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЁ

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

АДРЕС:

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телефон 5-51-69.

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“.